Вячеслав Пьецух

Революционные этюды

Часть сборника
Догадки (сборник)

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Ранним воскресным утром, когда вся Россия от станции Вержболово до самого Камня била поклоны перед темными ликами угодников, которые у нас от греков тревожно подсвечиваются рубиновыми, изумрудными и сапфировыми лампадками, белобрысый мальчик по прозвищу Муха, живший в учениках у мясника Дефкина, претерпевал возмездие за сломанный карандаш. Он стоял в углу коленями на горохе, искоса посматривал на хозяев и домочадцев, осенявших себя широкими крестными знамениями, и гадал: о чем бы таком им думалось натощак?..»

- Вячеслав Пьецух Революционные этюды
-

Вячеслав Пьецух Революционные этюды

Мальчик с корзиной

Ранним воскресным утром, когда вся Россия от станции Вержболово до самого Камня била поклоны перед темными ликами угодников, которые у нас от греков тревожно подсвечиваются рубиновыми, изумрудными и сапфировыми лампадками, белобрысый мальчик по прозвищу Муха, живший в учениках у мясника Дефкина, претерпевал возмездие за сломанный карандаш. Он стоял в углу коленями на горохе, искоса посматривал на хозяев и домочадцев, осенявших себя широкими крестными знамениями, и гадал: о чем бы таком им думалось натощак? Рубщики, по его мнению, думали о курсистках, хозяйка – наверняка о Страшном суде, на котором ей, между прочим, точно зачтется сегодняшняя выволочка за сломанный карандаш, а сам Дефкин скорее всего размышлял о том, как бы ему сплавить протухшую солонину.

После утренней молитвы хозяева отправились к поздней обедне, а домочадцам был подан на кухне чай с горячей булкой по случаю воскресенья, и все уселись за предлинный дубовый стол. Жилец Кислицкий, горький пьяница, недавно потерявший место писаря в околотке, понюхал булку, скорчил страдальческую физиономию и завел:

– Многотерпелив и всепокорен русский народ! Сунь ему в рот горбушку – он все простит, а то, что его спаивают испокон века, – это он хоть бы хны!

– Да кто ж его спаивает, скажи на милость? – поинтересовался старший дворник Степан Петров.

– Кому надо, тот и спаивает, – был ответ.

– Нет, ты говори толком, – настаивал Степан, – ты нам тут туману не наводи!

– Которые желают видеть русский народ в узде! Как же они не спаивают, ты сам посуди, старик, если у нас такие комичные цены на водку – двадцать четыре копейки за полведра?!

– Хорошо! – с чувством сказал Степан. – Давай обсудим вчерашний случай… Погода вчера была ничего себе, как полагается быть погоде. Народ с утра старался, зашибал копейку, чтобы, значит, хлеб наш насущный даждь нам днесь. А ты чего?..

– А я ничего! Потому что смотреть на наши российские порядки я могу, только изрядно залив глаза.

– Нет, ты чего! Ты вчера притащился на двор мертвецки, на

карачках, словно какой бессловесный скот! Главная причина, порядку от этого больше не стало, – так кто ж тебя неволил, чего ж ты пил?!

– Охота пуще неволи, – сказала кухарка Нюша.

– То-то и оно! – подтвердил Степан.

Кислицкий, насупившись, замолчал, видимо, ему нечего было ответить на кухаркину сентенцию либо просто наскучило возражать. Стало слышно, как похрустывает на зубах у чаевников сахар «молво» и гудит ведерный самовар.

Кошка сидела на подоконнике и тоже, казалось, о чем-то думала, наверное, о мышах.

Хоть и воскресный день выдался, и работать было грешно, все же хозяйка велела Мухе выбить половики. Мальчик сгреб их в охапку, вытащил во двор, повесил на веревку, протянутую от забора до каретного сарая, и с час ожесточенно лупил лопатой. Затем поступило распоряжение вычистить самовар, после – подмести черную лестницу, натаскать воды из водовозки, остановившейся у ворот, поправить обвалившуюся поленницу в дровяном сарае, приготовить раствор нашатыря для столового серебра, наконец, вынести помойный ушат и опорожнить его непременно в соседской выгребной яме, что во втором дворе. Других приказаний не было, и, таким образом, у Мухи образовался какой-никакой досуг. Сначала он хотел идти на кухню рисовать кошку и даже открыл способ изобразить животное помимо злополучного карандаша: нужно было развести слюной печную сажу и рисовать ею при помощи тонкой палочки из лучины, – но потом передумал и решил посудачить со старшим дворником Степаном Петровым, которого он крепко уважал за рассудительность и каверзные слова. Мальчик отправился за ворота, сел на скамейку рядом с дворником и вздохнул. Степан сунул ему в ладонь пригоршню жареных подсолнухов и тоже вздохнул, но по-стариковски, как бы с устатку жить.

– Вот нынче первый день весны, – заговорил дворник, – скоро птицы прилетят, глазом не успеешь моргнуть, как снег сойдет, листочки вылупятся, и наступит на земле рай… Который год наблюдаю я это коловращение, ажно подумать страшно, и все не надивлюсь на Божий мир, на премудрость его устройства! Своим чередом зима, своим чередом лето, и всякое-то лыко в строку, и всякая-то вещь понимает свою судьбу.

Прошел посреди улицы мастеровой, законно пьяный по случаю воскресенья, волоча за собой по брусчатке распустившуюся гармонику, которая время от времени попискивала, как живая.

– Скажи, дед, – обратился к дворнику мальчик Муха, – как по-

твоему, про что думает этот мастеровой?

– А бог его знает, наверное, ни про что. У пьяного человека одна катавасия в голове, считай, что рассудка нет. Бог дал человеку мозги, чтобы он, значит, удивлялся и ликовал, а он, злодей, только и знает, как бы залить глаза. Вот опять же возьми нашего жильца: ты, брат, не пей вина, аккуратно ходи в должность, и помаленьку в тебе отойдет душа. На трезвую-то голову скорее сообразишь, что жизнь – занятие очень даже стоящее, и это не она тебя затирает, а ты ее. Я вот только никак не возьму в толк: почему собаки пьяных не любят, а Бог бережет?

– Тоже, поди, жалко, – предположил Муха.

– Может быть, что и так. Но ты все равно, малый, смотри: как вырастешь, чтобы этих ошаление внушающих напитков – ни на зубок!

– Нет, дед, я пьяницей ни за что не буду, потому что мне с детства нравится рассуждать. Вот гляжу на человека и рассуждаю: о чем, например, он думает про себя?

– Это правильно, ты вникай.

Прогрохотал по мостовой обоз ломовых извозчиков, перевозивших куда-то горы старой мебели, запакованные в рогожу, потом со стороны Малой Садовой показалась полурота гвардейских саперов в синих французских кепи, на которую любопытно было бы поглазеть, как вдруг со двора раздался голос кухарки Нюши; мальчик поднялся со скамейки и неохотно пошел на зов.

Оказалось, что от хозяина Дефкина вышло распоряжение: отнести к Поцелуеву мосту четыре фунта говядины и записку. Муха повязал поверх шапки хозяйский башлык, взял в руки небольшую корзину с мясом, завернутым в синюю сахарную бумагу, и отправился со двора.

День выдался серенький, но хороший – приятно пахло в воздухе талым снегом, безветрие было полное, и оттого странно тихими казались улицы, обыкновенно продуваемые насквозь, на панелях, подметенных рачительными дворниками, было сухо, как летним погожим днем. Муха выбрал сложный маршрут, чтобы вдоволь нагуляться и упиться чувством вольного существа. Он пересек Большую Садовую и, увидев на перекрестке грустного городового, подумал, о чем можно было бы грустить в такой симпатичный день. Затем он двинулся в сторону Михайловского замка и нагнал двух студентов в шотландских пледах, накинутых на форменные сюртуки, а пока обгонял эту пару, подслушал обрывок чужой беседы:

– … потому что все беды от чисто национального, этнического начала, которое, как правило, подавляет

общечеловеческую суть. Кавказцы – разбойники, русские – пьяницы, арабы – фанатики, немцы – крохоборы, и только общечеловеческое, обусловленное Создателем, а не определенное особенностями исторического пути, способно вывести народы из морального тупика…

Муха подумал: «Вырасту, обязательно буду студентом, чтобы ходить по улицам в пледе и мудровать».

Затем он повернул налево и еще раз налево, осмотрел новое здание цирка и вышел на набережную Екатерининского канала, где было тихо и пустынно, как в допетровские времена. Впрочем, дворник-татарин мел панель возле чугунной решетки сквера, показались вдали двое преображенцев в горчичных шинелях, да ближе к углу Невского проспекта перемещались мелкие человеческие фигуры, похожие на гво2здики при ногах.

За спиной послышалось цоканье многих копыт, Муха обернулся и увидел большую лаковую карету в окружении верховых казаков, – то был экипаж императора, который следовал во дворец после воскресного развода в Михайловском манеже и завтрака у сестры. Мальчик поставил корзину на панель, сделал фрунт и отдал карете честь. Сквозь ее стекло было отлично видно августейшее задумчивое лицо, и Муха прикинул: о чем бы таком мог размышлять православный царь, наверное, о турках, о чем еще…

На самом деле Александр Николаевич думал о Долгорукой. В свою очередь Рысаков, тащивший под мышкой бомбу в ситцевом узелке, мысленно прощался со своей олонецкой родней, Гриневицкий же, запасной бомбист, думал о том, что вот еще мгновенье, и многострадальный русский народ будет наконец-таки отомщен.

А Муха уже ни о чем не думал; вдруг ослепительное что-то, жаркое и вонючее оторвало мальчика от земли и с такой силой ударило о решетку сквера, что голова его оторвалась и переместилась метров за тридцать, в грязный сугроб, наметенный дворником-татарином накануне.

По-своему странно, обидно даже, что он ничего не узнает о казни народовольцев, восстании на броненосце «Потемкин», крушении трехсотлетнего дома Романовых и победе Великого Октября.

В ночь со вторника на четверг

В двадцатых числах октября установилась отвратительная погода: густо-серое небо прочно и тяжело село на город, как торговки для тепла садятся на кастрюли с жареной требухой, временами шел снег с дождем, и такая развелась на улицах слякоть, что хоть вовсе из дома не выходи, после обеда со

стороны Финского залива налетал злой ветер, пахнувший ржавой селедкой, и гонял вдоль мостовых опавшие листья, окурки, шелуху от подсолнухов, бумажки и прочий сор. Тем не менее в городе было людно, кое-где на перекрестках сбивались толпы, тревожно звенели трамваи, туда-сюда шныряли грузовики. Дело клонилось к вечеру, и в сумерках особенно острым было ощущение какого-то кануна, обещавшего то ли катастрофу, то ли небывалое торжество.

Во вторник 23-го октября, в шестом часу вечера, Аркаша Чистов стоял у окна, смотрел сквозь залитые стекла на свой Кузнечный переулок, точно сквозь чужие очки, и думал: «И чего они таскаются по улицам, эти люди, сидели бы лучше дома да чай дули в кругу семьи…» При слове «семья», в мыслях произнесенном, у Аркаши заныло сердце – и было отчего: не так давно расстроилась его свадьба.

С Ритой Мук он познакомился два года тому назад. Тогда это была донельзя худая, носатенькая, вообще малопривлекательная девушка с внимательными глазами и такими полнокровными, припухлыми губками, что их настоятельно хотелось отведать, как обыкновенно хочется первой черешни, когда на дворе еще стоят майские холода. Дело было в Бобыльске, неподалеку от Петергофа, в конце июня, на пикнике; день выдался серенький, но сухой и теплый, изредка между тучами проглядывало голубое, и сердце, точно отвечая ему, веселее гоняло кровь, а Чистов сидел на траве чуть в стороне от компании, между корзинами с розовым вином, апельсинами и горячим пеклеванным хлебом, и размышлял о том, отчего это ему сегодня так хорошо, как-то по-новому хорошо?.. Немного позже, несколько раз встретившись глазами с носатенькой Ритой Мук, он наконец понял, отчего ему сегодня так хорошо, – оттого, что рядом с ним была эта самая Рита Мук. В груди у Аркаши разлилась какая-то горячая, даже воспаленная нежность, точно у него поднялась внезапно температура, что, впрочем, с ним случалось и прежде, например, когда в детстве мать, приговаривая, дула ему на ссадину, полученную в мальчишеской потасовке или по случаю беготни. Это чувство было настолько полным, самодостаточным, что Аркаша Чистов пальцем не шевельнул, чтобы как-то блеснуть и даже просто привлечь к себе внимание Риты Мук, а только пил, ел, больше помалкивал и тупо прислушивался к речам бородатого незнакомца с мелкими чертами лица, какие бывают у грызунов.

– Всеобщее избирательное право в России, – говорил незнакомец, – это национальная катастрофа! Помилуйте: разве наш пензенский опившийся Робеспьер выберет в Государственную думу дельного человека? Да ни в коем случае, и уже потому ни в

коем случае, что дельный человек не станет тратить время на говорильню, партийные дрязги и прочую ерунду!.. А выберет он обязательно бездельника, мерзавца, сладкоголосого дурака, выберет по той простой причине, что он не отличает террориста от либерала, что он стеной станет за бандита с большой дороги, если тот посулит ему вечный базарный день!..

Аркаша Чистов вполслуха слушал речи бородача, то и дело косил в сторону Риты Мук и думал о том, что человеку нужно для счастья совсем немного: дом, который нельзя отнять, жена, которая не уйдет к другому, любимое дело, которое наполняет смыслом существование, мелкие радости, которые скрашивают досуг, – в сущности, вот и все. Особенно занятным ему показалось то, что этот идеал осуществим равно в Патагонии, при первых Сасанидах и в случае недорода.

После пикника в Бобыльске они не виделись примерно полтора года, и Аркаша уже подзабыл о существовании Риты Мук; только иногда оживала в нем нежность, обжигающая нутро, но он не знал, к чему ее отнести, и принимал за томление плоти, которое было так естественно в положении молодого холостяка. Но вот как-то студеным январским днем, когда опасно было прикасаться к металлическим ручкам подъездов и молочного цвета пар валил сквозь решетки канализации, он столкнулся лицом к лицу с Ритой Мук на углу бывшей Никольской улицы и Театральной площади, остолбенел, и вдруг на него напало головокружительное ощущение, точно земля ни с того ни с сего перевернулась ногами вверх. Видимо, Рита Мук почувствовала нечто схожее, ибо они, не сговариваясь, двинулись бок о бок вдоль Офицерской улицы, завернули в первую попавшуюся подворотню и соединились в коротком, паническом поцелуе, как на пару выкрали кошелек.

С тех пор они виделись каждый день; в любую непогоду они гуляли рука об руку либо в Летнем саду, среди пеналов для статуй, похожих на нужники, либо вдоль набережной Мойки, от Поцелуева моста до Новой Голландии, либо вокруг Михайловского дворца. Разговаривали они мало, поскольку были сосредоточены на чувстве взаимного магнетизма, которое воспринимали как сокровенное знание и редкую благодать, но неизменно обращали внимание на разные оскорбительные мелочи, вроде матерной брани и даже скомканных бумажек на мостовой. Мысль о браке казалась им недостойной, так как она слишком смыкалась с бытом, – настолько их близость была таинственна и чиста.

Теперь Рита Мук мучительно отходила в соседней комнате, и сквозь стену в один кирпич было отлично слышно, как она стонет

и мечется в забытьи. «А по улицам ходят люди, – думал Аркаша Чистов, – и дела им нет, что в двух шагах умирает самое главное существо во вселенной, без которого жизнь – ничто…» Он еще немного постоял у окна, вглядываясь в смутную перспективу Кузнечного переулка, потом прошел к письменному столу, сел в свое любимое кожаное кресло и пододвинул к себе большую бухгалтерскую тетрадь. Вошел старинный приятель Аркаши, доктор Пехотский, который дежурил у постели больной, и Аркаша глазами сделал ему «ну как?». Пехотский неопределенно пожал плечами, вытащил коробку папирос «Король Альберт» и закурил.

Минут пять молчали, – доктор Пехотский, прислонясь спиной к голландке, Аркаша Чистов, листая свою тетрадь, – молчали сосредоточенно и взаимно, как если бы обоих угнетала одна и та же шальная мысль.

– Как подвигается твой доклад? – спросил наконец Пехотский равнодушным голосом, чтобы только направить беседу на постороннюю, не мучительную стезю.

– Так себе… – ответил ему Аркаша. – Да и до того ли мне теперь, посуди сам. Между тем я клятвенно обещал начальству, что представлю доклад не позже 25 октября. Удивительная, знаешь ли, вырисовывается картина! Вернее будет сказать, я неожиданно пришел к заключению, которому, вероятно, суждено сделать переворот в статистике, криминалистике, психологии и вообще… Слушай внимательно: я открыл, что число уголовных преступлений в процентном отношении есть константа, что, то есть, из века в век убивают, грабят, насилуют не больше и не меньше, а ровно на столько больше или меньше, на сколько увеличилось или уменьшилось народонаселение на Земле. Например, в голодном 1892 году в Тамбовской губернии было совершено 72 разбойных нападения, а в сравнительно благополучном 1912 году их было совершено на 4 % больше… Так вот все дело в том, что за эти годы именно на 4 % разросся тамбовский этнос! Как ты думаешь, о чем это говорит?

– Это говорит о том, – заявил доктор Пехотский, – что тамбовским бабам лучше бы не рожать.

– Что-то я прежде за тобой этого толстовства не замечал.

– Да в чем же здесь толстовство?! – воскликнул доктор, забавно выпучивая над очками свои отчего-то вечно слезящиеся глаза.

– А вот наш яснополянский пророк в свое время призывал покончить с порочной практикой деторождения и, таким образом, кардинально решал проблему добра и зла. Между тем очевидно, что простые решения никогда до добра не доводят, так как всякое

бытие организовано слишком сложно, и если лечить социальные болезни свежим воздухом, то обязательно жди беды. Ты никогда не задумывался над тем, что Лейбниц куда понятнее евангелий?

Доктор Пехотский показал движением губ, что он над этим не задумывался никогда.

– А я задумывался, и представь себе, много раз. Во-первых, я пришел к заключению, что Лейбниц потому понятнее евангелий, что он не сразу выходит на результат. Во-вторых, мне в конце концов стало ясно, что чем запутаннее та или иная этическая проблема, тем сложнее, неожиданнее должно быть ее решение. Ну например: чтобы обуздать уголовную преступность, необходимо привить юношеству обыкновение мыть руки перед едой. Во всяком случае, недаром Лейбница почитывают, а учение евангелистов исповедуют как закон…

В соседней комнате протяжно застонала Рита Мук и несколько раз ударилась коленками о стену, да так по-здоровому энергично, что мелко зазвенела посуда в лаковом дедовском поставце. Доктор Пехотский отправился к умирающей, а Чистов устыдился тому, что за разговорами запамятовал о мучениях любимого человека, и даже покраснел от смущения и стыда. За темными окнами слышно шел мелкий, противный дождь, в щели между рамами залетал сырой ветер, а на душе так долго было пакостно и тревожно, что понятие о времени растворилось в самом времени, и невозможно было сказать, какой нынче день недели, что за пора суток, который час. Мало-помалу к какой-то общей душевной муке прибавилось острое ощущение оскорбленности, – и было отчего: Рита Мук предала его не далее как месяц тому назад.

До середины минувшего сентября они виделись каждый день, и ежеминутное присутствие Риты Мук со временем сделалось настолько необходимым, что Аркаша Чистов в часы разлуки таскал под рубашкой ее сорочку, писал на бумажках родное имя и под видом беседы с возлюбленной разговаривал сам с собой. Делать было нечего, Аркаша настоял на женитьбе, и вот в день свадьбы, – ему даже число вспоминать не хотелось, ибо в самом том числе таился смертельный яд, – он получает записку от Риты Мук; в записке она писала, будто в последнюю минуту ей стало понятно, что она в действительности не любит Аркашу и никогда не любила, а любит другого человека и скоро станет его женой. Аркаше Чистову было отлично известно, кто таков был этот самый другой человек: троюродный брат его невесты, оптовый торговец и биржевик. Это обстоятельство представлялось ему особенно оскорбительным; сначала он надумал повеситься, потом запил, но его организм плохо справлялся со значительными

дозами алкоголя, и эта история не получила логического конца. Разве что он крепко задумался о логичном в общественном развитии, частной жизни и поведении человека: по всему выходило, что это довольно глупо – выискивать логичное во всем происходящем с людьми, обществом и страной, поскольку, во-первых, известна масса явлений и событий, в которых логика даже не ночевала, вроде войн за мировое господство, поскольку, во-вторых, человечество, может быть, по своей сути иррационально, ибо действует, главным образом, исходя из символов и поверий.

Впоследствии Аркаша Чистов окончательно укрепился в этой обезболивающей идее, именно когда однажды под вечер кто-то позвонил в его квартиру в Кузнечном переулке, он открыл дверь и увидел на пороге свою драгоценную Риту Мук. Оказалось, что за неделю до свадьбы с ее троюродным братом она подхватила какую-то таинственную болезнь, которую затруднился квалифицировать даже такой блестящий диагност, как доктор Пехотский, и явилась умирать не куда-нибудь, а к Аркаше в Кузнечный переулок, дом № 8, квартира 2. Логики такого поведения он постичь даже не попытался и принял появление своей бывшей невесты, как принимают сумерки или дождь. Теперь она лежала в соседней комнате и билась коленями о стенку, вызывая дрожание посуды в лаковом дедовском поставце.

Аркаша Чистов посмотрел в окно, которое заметно побледнело, – то ли занималось утро, то ли зажглись на улице фонари, – взял в руки перо и пододвинул к себе большую бухгалтерскую тетрадь.

«По справке департамента полиции, – писал он, – в Тамбовской губернии за 1899 год было совершено в общей сложности 425 уголовных преступлений, причем наказанию по суду заключением в арестантских ротах, каторжными работами и ссылкой на поселение в Сибирь было подвергнуто 514 человек. В следующем 1900 году в той же губернии было зарегистрировано 472 преступления, а различным наказаниям подвергнуто 611 человек. Далее – в том же духе. Эта динамика находит интересную историческую параллель: в эпоху Петра Великого, когда пенитенциарная система была несравненно жестче, в 1708 году за казнокрадство было казнено 11 человек, в 1709 году – 17, в 1710 – аж 22…» Вошел доктор Пехотский, кашлянул и сказал:

– Ты бы, Аркадий, прилег, ведь третью ночь не спишь.

– А который теперь час?

– Начало восьмого.

– Чего: вечера или утра?

– Утра.

Стало быть, уже среда занималась над городом на Неве. Аркаша прислушался: трамваи еще не ходили, но мило тренькали колокола Владимирской церкви и где-то постреливали, – это была примета новейшего времени, которая вгоняла в панику горожан, – точно кто нарочно ходил по ореховой скорлупе.

– С ума сойти можно! – сказал Аркаша Чистов и сделал протяжный вздох. – Еще год тому назад я бы в глаза наплевал тому человеку, который сказал бы, что скоро у нас станут стрелять среди бела дня.

– Живучи в России, – заметил доктор Пехотский, – следует знать, что нет ничего такого, чего в России не могло бы произойти. Взять хотя бы твою криминальную статистику: чему еще остается удивляться, если в голодные годы у нас грабят меньше, чем в урожайные, – это же чисто российские чудеса!

– На самом деле проблема куда сложнее. – Аркаша левой рукой потер лоб, а правой отодвинул чуть в сторону свою бухгалтерскую тетрадь. – Если динамика уголовной преступности такова, что рост правонарушений находится в прямой зависимости от роста народонаселения и ни от чего больше, то, значит, налицо некий таинственный закон, о природе которого мы можем только догадываться, но который никто и ничто не в силах переступить. В том-то все и дело, что если бы прироста народонаселения не наблюдалось, уровень уголовной преступности оставался бы одним и тем же, несмотря на экономические успехи и потрясения, социальные взлеты и катастрофы, эпидемии, экспансионизм, необъяснимые падения нравственности народной, наконец, неуклонный рост производства вина и пива… О чем, по-твоему, это говорит?

– По-моему, это говорит о том, что с торговцев винно-водочными изделиями напрасно взимают акцизный сбор.

– Нет, это говорит о том, что кто-то хочет, чтобы навек оставалось неизменным соотношение между патологическими негодяями и нравственным большинством. Зачем это нужно, нам непонятно, но нам понятно, что этот кто-то, конечно, Бог.

Доктор Пехотский закурил очередную папиросу и сказал, пыхнув на Аркашу душистым дымом:

– Если бы я поставил перед собой цель искоренить в Тамбове тысячелетнее христианство, то я просто-напросто пропустил бы всех тамбовчан через анатомический театр. И сразу бы стало ясно, что мертвый человек есть обыкновенная туша мяса, и совершенно непонятно, зачем этой говядине требовалось мыслить, суетиться, соперничать и страдать.

– Это ты к чему?

– Это я к тому, что все тридцать три русские несчастья

объясняются леностью нашего ума. Стоит только ему упереться в стену, как он сразу объявляет эту стену богом и переключается на гастрономический интерес.

– Если когда-нибудь Россия прекратит свое существование, – сказал Аркаша Чистов, – так только оттого, что русские интеллигенты любят поговорить…

За стеною раздался ужасный вопль, казалось, даже не человеческого происхождения, а скорее похожий на тот материально-истерический звук, который издает механическая сирена. Аркаша с доктором Пехотским сорвались со своих мест и бросились в соседнюю комнату, причем в панике некоторое время не могли разойтись в узком дверном проеме. Рита Мук полулежала в постели, опершись на локти, и напряженно расширенными глазами, в которых сидело тоже что-то нечеловеческое, смотрела сквозь приятелей и сквозь стену. Потом она медленно опустилась на спину, и ее глаза вперились в потолок. Пехотский пощупал пульс.

– Неужели конец? – шепотом спросил Аркаша Чистов, даже не шепотом, а дыханьем.

Доктор неопределенно пожал плечами:

– Нет еще, но думаю, что отходит.

Они примостились на венских стульях подле постели умирающей и начали ждать конца; доктор Пехотский ждал, так сказать, профессионально, а Чистов с каким-то истерическим вниманием следил за каждым изменением в лице Риты Мук и отсчитывал в уме минуты, похожие на часы. Ему делалось жутко при мысли о том, что единственное по-настоящему дорогое ему существо и вправду может его покинуть, превратив, таким образом, жизнь в никому не нужное прозябание, даже в отрицательную величину, – в качестве аллегории ему почему-то приходила на ум бутылка из-под дорогого шампанского, а после граммофонная пластинка, которую заело, и оттого она издает один и тот же нелепый звук. Кроме того, ему жутко было присутствовать при последнем издыхании человека, и он очень хотел уйти.

За окнами потемнело, вероятно, настал вечер, а то и ночь; вообще последние дни представлялись Аркаше Чистову одной сплошной ночью, в которую время от времени врываются не ночные, бодрые голоса: то трамваи тренькают, то стреляют, то зазвонит в прихожей телефон и доктор Пехотский с кем-то поговорит. Мало-помалу на него напало какое-то отупение и отпустило чаянье смерти, похожее на глухую зубную боль; он даже сравнительно хладнокровно наблюдал, как лицо Риты Мук вдруг побагровело, потом сделалось лиловым, страшно похожим

на физиономию фокусника-негра из частного цирка Арона Фунта, который съедал живьем до пяти цыплят. После оно стало бледнеть, бледнеть, точно негативное изображение в проявителе, пока не приобрело пасмурно-белый цвет.

– Кончено, – сказал доктор Пехотский и подавил нервную зевоту. – Впрочем, еще неизвестно, кому лучше, может быть, и не нам.

Аркаша Чистов вышел на чужих ногах из комнаты, где лежала покойница, попутно посмотрел на часы, висевшие на стене, которые показывали, видимо, четыре часа утра, сел за свой стол и пододвинул к себе большую бухгалтерскую тетрадь. Некоторое время он смотрел в нее глупо, непонимающе, думая о другом: «Вот умер единственный человек в мире, и, кажется, ничего особенного не случилось, по-прежнему ходят часы и за окном сыплет снег вперемежку с дождем, только такое чувство, словно из квартиры выкачали воздух и ты дышишь чем-то живительным, но другим…» Он потянулся за пером, поерзал в кресле, устраиваясь поудобней, и стал писать.

«Такая динамика наводит на размышления, выходящие далеко за рамки чисто статического исследования. Существующая пенитенциарная система, как известно, основывается на принципе возмездия за совершенное преступление и одновременно на принципе перевоспитания преступного элемента. Между тем данные статистики нам говорят о том, что на путь исправления становится не более 2 % уголовных преступников, главным образом, совершивших противоправное деяние в силу случайно сложившихся обстоятельств. С другой стороны, необходимо признать, что принцип возмездия недалеко ушел от обычая кровной мести первобытных народов, что он недопустим в обществе, которое считает себя культурным, что, наконец, эффективность его приближается к математическому нулю…»

Вошел доктор Пехотский, кашлянул и сказал:

– Черт знает что творится у нас в России!..

– Что именно? – спросил Аркаша Чистов, не отрывая глаз от полуисписанного листа.

– Да вот сейчас звонили из Обуховской больницы, сказали, чтобы я на дежурство сегодня не приезжал. Говорят, повсюду идет стрельба. Будто власть в столице захватили какие-то мастеровые, дворники и почтальоны, которые палят на улицах почем зря.

Аркаша протяжно вздохнул, потом под ним едва слышно пискнуло кресло, потом заскрипело его перо.

От любимой к любимой

Семен Бычков в первой молодости был забубенный коммунист. Видимо, это с ним случилось по той причине, что он

был человеком сильных чувств, и уж если ненавидел, так ненавидел, а уж если любил, то любил до нервного истощения, не любил даже, а, что называется, обожал. Недаром принцип социального равенства и распределения по труду, хотя бы исполнимый вопреки закону всемирного тяготения, настолько въелся ему в мозги, что он питал неприязнь к владельцам автомобилей и не мог без горловых спазмов читать еженедельник «За рубежом». Его богом был Че Гевара, библией – «Государство и революция», он даже по некоторым пунктам пикировался с факультетской партийной организацией и чуть было не вылетел из своего станко-инструментального института за сектантство и левизну.

Как раз в ту пору, когда понемногу стал рассасываться конфликт с факультетской партийной организацией, он влюбился в свою сокурсницу Лену Кулебякину, и она скоро стала его женой. Жили они чудесно: небогато, но в достатке, не то чтобы весело, хотя оба были жизнерадостными людьми, но довольно разнообразно, не без мелких распрей, правда, но все же на тот манер, который у нас называется – душа в душу. За Кулебякину ничего определенного не сказать, поскольку вообще женщины народ хитрый, а Бычков до такой степени любил свою избранницу, что она ему постоянно снилась. Детей у них не было, почему – опять же ничего определенного не сказать.

По утрам они не виделись, так как поднимались в разное время, потому что у Бычкова рабочий день начинался в половине девятого, а у Кулебякиной равно в семь. Собственно семейная жизнь у них налаживалась что-то около шести часов вечера, когда Семен встречался с Еленой у главпочтамта и они тащили домой авоськи с провизией, или отправлялись в гости, а то на какое-нибудь зрелищное мероприятие, а то попросту погулять. В том случае, если супруги сразу ехали восвояси, дома Кулебякина принималась за мытье посуды, а Бычков со вкусом готовил ужин. Самое позднее около половины восьмого вечера они сидели на кухне за миниатюрным столом, уминали еду и говорили о том о сем.

– А вот интересно, – например, заводил Бычков, – как ты относишься к бойне в Индокитае?

Кулебякина в ответ:

– Я к ней, Сеня, отрицательно отношусь.

– Нет, я серьезно, Лен! Ты пойми, что каждый человек должен определиться в вопросе агрессии против свободолюбивых народов Индокитая. Какие тут могут быть шутки, когда империализм всеми средствами стремится распространить свою жлобскую философию среди народов, только-только сбросивших

колониальное иго и еще не вставших на твердый путь?! Ладно бы эти хапуги, у которых душа находится в кармане, пропагандировали волчью идеологию при помощи жевательной резинки и журнала «Плейбой», а то ведь они просто-напросто с ножом к горлу лезут: живи по-нашему, не то мы тебя порежем! Это Молдаванка какая-то, а не курс!..

– Наши, положим, – говорила ему Елена, – тоже везде свой нос суют, где надо и где не надо.

– Это, конечно, есть! Разница только в том, что мы несем человечеству идею освобождения труда и отмены частной собственности на землю, реки, горы и облака! А они сеют законы джунглей, – скажешь, не так?

– Да так, так!..

– То-то и оно, Елена Владимировна, что так! А то ты рассуждаешь, как пережиточная старушка в очереди за яйцами, – стыд и срам!

– Я вот только не пойму, чего наши коммунисты не потому коммунисты, что у нас хорошо, а потому коммунисты, что у них плохо?

– Сейчас объясню… Видишь ли, дело в том, что мы – как первопроходцы путей в грядущее, – конечно же, испытываем многие тяготы и неудобства, неизбежные по дороге к новой, прекрасной жизни. Поэтому у нас и не может быть хорошо, но зато мы знаем цель, осознаем всю грандиозность нашей исторической миссии и оттого уверены и тверды. Западный же мир существует по инерции, которую сообщила ему Великая французская революция, точно какой-нибудь таракан, и существование его бессмысленно, по крайней мере, бесперспективно. Мы смело смотрим вперед, потому что работаем на великую идею, а буржуазный мир в тупике, и люди там могут быть счастливы только тем, что в состоянии купить на килограмм больше свиных сосисок. Ты согласна, что оснований для радости маловато?

Кулебякина равнодушно кивает ему в ответ.

– Стало быть, разница между ними и нами огромна, ну как, скажем, разница между стихотворением и объявлением о дровах. И мы горды этой разницей, мы в ней видим реальное превосходство социалистического образа жизни над идеологией обывателя и рвача. Поэтому нам хорошо, даже когда нам вовсе не хорошо…

Уже кончен ужин, уже за окном дотлели остатки дня, а Семен Бычков все говорит, говорит, и в глазах его светятся огоньки, веселые такие, как зеленые фонарики у такси.

Прошло много лет, бесцветных, удручающе некрасивых,

словно череда сараев за станцией Москва-3, когда в России, разумеется, что-то происходило, но не случалось решительно ничего; где-то противоборствовали и страдали, воевали и замирялись, а у нас ничего, ни синь пороху, только что-то все время вводили в строй.

Но вот в конце восемьдесят шестого года, на конференции по электронному анализу в Костроме, Семен Бычков познакомился с москвичкой же Верой Замутенковой, и в его жизни случился переворот. Вера была женщина уже немолодая, полноватая и, что называется, сырая, но тем не менее она произвела на Бычкова такое сильное впечатление, что он почувствовал: даром эта симпатия не пройдет. И действительно – вспыхнул роман, который мало-помалу перетек в стойкую житейскую связь, и скоро стало ясно, что прежней семье – каюк. Решиться на развод с Кулебякиной ему было безмерно тяжело, во-первых, потому что это просто тяжело, а во-вторых, потому что он ее по-прежнему обожал. И Кулебякину он обожал, и Замутенкову обожал, – вот такой выдался дуализм, что, впрочем, у нас бывает, подобно тому, как русский человек может одновременно страдать стяжательством и возвышенным строем чувств. Трудно сказать, какие именно организационные формы приняло бы его бытование как мужчины и гражданина, кабы с ним не случился еще один переворот: он вдруг разочаровался в коммунистической вере и решительно отошел от платформы КПСС.

В ту пору, когда остаткам московской интеллигенции позволили высказаться напрямик, наши говоруны сначала захлебнулись от восторга, а потом понесли такое, что на новом Новодевичьем кладбище земля зашевелилась, по образному замечанию тамошних сторожей. И как-то вдруг стало яснее ясного, что так называемый социалистический путь развития неизбежно ведет общество к бледной немочи, поскольку, оказывается, в табеле о рангах он обеспечил нашей красной империи самые жалостные места. Вот как ананас, – рассуждал сам с собой Бычков, – в оранжерейных условиях растет, а морковка не растет, так и общество, организованное искусственно, без учета низменной природы человека, существует на самый монстрезный лад. И ананасом сыт не будешь, и благими намерениями сыт не будешь, а морковка, гадина, не растет. То есть современное человечество таково, что развиваться оно способно только в условиях простого и жестокого общественного устройства, а если наладить ему благотворительное питание и сориентировать на высшие идеалы, то почему-то резко падает отдача физического труда. Но главное, вот какое дело: уж если былая вера пошла прахом, то прежнему браку сам бог велел.

Поднимались молодожены в одно и то же время, поскольку работали в смежных учреждениях, вместе ехали муниципальным транспортом к месту службы, расставаясь только на станции «Павелецкая», вечером встречались у памятника первопечатнику Федорову, в случае нужды делали покупки в гастрономе на углу площади Дзержинского и улицы 25 Октября и ехали на Палиху, где у них была однокомнатная квартира. Замутенкова принималась за мытье посуды, Бычков со вкусом готовил ужин, потом они устраивались на кухне и за едой говорили о том о сем.

– Сдал сегодня Никифорову партбилет, – например, заводил Бычков.

– Ну и что Никифоров? – отзывалась Замутенкова, делая остро заинтересованные глаза.

– Да, собственно, ничего. Вздохнул так и говорит: конечно, говорит, быть в наше время коммунистом – непростительное ребячество, как, предположим, тратить зарплату на леденцы. Но вот как без идеологии жить, – этого я вообразить себе не могу.

– Ничего не поделаешь, – говорила Замутенкова, – все течет, все изменяется, Лев Толстой даже настаивает, что не меняются только крокодилы и дураки. И все-таки, Семен, есть в этом что-то неприятное, что все вдруг расплевались с КПСС…

– А что ты хочешь? Чтобы я по-прежнему держался установок Ульянова-Ленина семидесятилетней давности, чтобы я, как заводной, славил социалистическое соревнование и несгибаемых молодцев из ЧК?! Нет, дорогая, этот поезд уже ушел, сейчас последнему олигофрену ясно, что так называемый социализм есть не что иное, как законсервированная мечта. И консервы не хранятся вечно, и голой мечтой долго не будешь сыт.

– А все-таки, Семен, жили мы прежде весело, даже несмотря на молодцев из ЧК. Потом, ты же не станешь отрицать, что благодаря ордену коммунистов бедняцкая Россия превратилась в мощную индустриальную державу, которой боялись все?..

– Этого я отрицать не стану. Действительно, за счет неимоверных народных жертв удалось построить могущественное военное государство, да только это было искусственное создание, которому долго не протянуть. Ведь что его питало: баллады, рабский труд, распределение по минимуму, животный страх и слепая вера в грядущий день. На такой пище далеко не уедешь, а если и уедешь, то не туда. В результате до такой степени мы заехали не туда, что даже самые умные из вождей вели себя как последние дураки: ну зачем Сталину потребовалось дело врачей, если страна и так была насмерть запугана? зачем Андропов устраивал облавы в кинотеатрах? или вот Бухарин занимался литературной критикой – а зачем?!

– И все-таки мне не совсем понятно, почему дала сбой довольно простая логическая цепочка: за точку отсчета берем учение Маркса-Ленина, из которого вытекает социалистическая революция, из которой вытекает общественная собственность на средства производства, из которой вытекает радостный труд во имя общественного блага, из которого вытекает процветание и вообще…

– Я тебе предлагаю другую логическую цепочку: немцы выдумали теорию о перерастании капиталистической формации в социалистическую, но отнюдь не имели в виду Россию; русская несусветная молодежь решила во что бы то ни стало перевести эту теорию в область практики и добилась-таки своего, потому что у нас можно добиться чего угодно; впрочем, сразу стало ясно, что новый строй нежизнеспособен, потому что ориентирован на заурядность и слабака; поэтому пришлось запугать население бессмысленными репрессиями, поработить крестьянство и ввести распределение по минимуму в городах; однако напуганный человек пороха не выдумает, порабощенное крестьянство только для вида будет ковыряться в земле, распределение по минимуму превращает производителя в паразита; итого, мы имеем инвалидную государственность, которая может существовать исключительно на спирту.

– Все это, может быть, и так, только при социализме трудящимся аккуратно платили деньги, а при рыночных отношениях Клавдия Ивановна из четвертой квартиры пенсии не видела с ноября.

– Платили, но не деньги, а такие квиточки, как бы фантики на обмен. Причем с этими фантиками еще намучаешься по очередям, да еще у тебя перед самым носом кончится туалетная бумага, или кошачья колбаса, или обувка на чугуне! Это уму непостижимо, какая должна быть экономика, чтобы граждане с фантиками в кармане, в рабочее время, несколько часов торчали в очереди за обувкой на чугуне!

– Как ты хочешь, а мне все-таки не нравится этот демократический, жлобский строй.

– И мне не нравится! Только лучше жлобская демократия, чем мертвое царство первых секретарей…

Уже кончен ужин, уже за окном дотлели остатки дня, а Бычков с Замутенковой все говорят, говорят, и в глазах у них светятся огоньки, веселые такие, как зеленые фонарики у такси.

На этот манер они прожили много лет, тревожных, переменчивых, но явного праздничного оттенка, и все бы хорошо, если бы с Бычковым опять не случился идейный переворот. Он вообще был человек жалостливый и не мог без горловых спазмов

видеть бездомных собак, побродяжек, инвалидов на костылях, а тут проходу не стало от нищих старушек, пошли взаимные неплатежи и шахтерские голодовки, уже начали постреливать среди бела дня, – одним словом, Бычков скоро разочаровался в рыночной экономике и примате гражданских прав. Его, разумеется, угнетали и вопросы личного порядка, например, почему меняются жены и Бог не дает детей, однако взаимные неплатежи почему-то неизменно выходили на первый план.

Как нарочно, в эту переломную пору случай свел его с известной московской кактусисткой Ириной Вавич, женщиной совсем еще молодой, и между ними возникло чувство, похожее на остро развивающуюся болезнь, так что и двух месяцев не прошло, как они навострились идти к венцу. Невообразимо тяжело было расставаться с Замутенковой, которую Семен по-прежнему обожал, но привязанность новая оказалась намного сильнее старой, и Бычков решился на третий брак.

Весь день они проводили вместе, так как Ирина была человеком свободной профессии и сам собой рассосался научно-исследовательский институт, в котором служил Бычков. Семен обычно поднимался с третьими петухами, мыл посуду, готовил завтрак, и когда его новая половина вылезала из ванной комнаты, на кухонном столе уже дымились пельмени под горчичным соусом, или омлет по-итальянски, или тушеная капуста с колбасками, или еще что-нибудь, приготовленное с душой. После завтрака Ирина приводила себя в порядок и садилась за телефон, а Бычков день-деньской читал, лежа на диване, если не смотрел телевизор и не таскался по магазинам, причем ему настолько понравилось такое времяпрепровождение, что он решил: настали лучшие годы жизни. По вечерам они садились на кухне пить чай, и Бычков по своему обыкновению заводил:

– Сегодня назначили нового министра по электричеству. Интересно, чего-то он новенького начудит?..

– А я думала, Бычков, что ты человек культурный.

– Это ты к чему?

– К тому, что надо знать родную литературу. Дедушка Крылов еще когда написал про то, что сколько бы наши лабухи ни менялись местами, музыки от них все равно не жди.

– Ну почему, – говорит Бычков, – очень даже многое может измениться по той причине, что у нас кадры решают все. Ведь в России испокон веку так повелось, что ход государственного строительства зависит от человека; не от практической выгоды, заметь, не от идеологии, а от Ивана Петровича Сидорова, который может быть или обормот, или беззаветный труженик, или вор…

– А по-моему, в том-то и беда, что у нас кадры решают все. В нормальных странах существуют какие-то непреходящие ценности, какие-то политические традиции, а в России вчера грудь в крестах, сегодня голова в кустах, завтра тебя морочит царь, послезавтра – псарь!..

– Ну, положим, заграница нам не указ! У них родовая дисциплина от двенадцатого колена, жены домашнюю бухгалтерию ведут, в то время как у нас в каждом милиционере сидит Стенька Разин, который только и мечтает, как бы перерезать коммерсантов и наветчиков из газет! Я вот, Ирина, даже теперь думаю, что единственно органичный для России государственный строй – это социализм… Ну не по мерке нам демократические свободы, не по нутру, и, значит, на дух нам не надо никакой презумпции невиновности, а нужны соцсоревнование и надзор! Потом, какие еще могут быть рыночные отношения в районе Марьиной Рощи, если там на одного продавца два рэкетира, на одного производителя шесть воров?! И никаких гражданских прав у нас быть не может, потому что свобода манифестаций, как правило, дает кровавые потасовки, а свобода слова – матерную печать! Нет уж, видно, нам так написано на судьбе, чтобы восемь часов ковыряться на своем рабочем месте, помалкивать в тряпочку и жить от аванса до получки, которая еще называется «под расчет».

– Обидно, конечно, – говорит Вавич, – но, видимо, так и есть.

– Но самое обидное – это то, что кто сейчас хозяин жизни? Кто у нас в школе списывал контрольные работы и воровал мелочь на завтраки из пальто! Вот этого я ну никак не могу стерпеть! Одним словом, я теперь обратно за реальный социализм.

– Ты еще в компартию запишись…

– И запишусь!

– И запишись.

– И запишусь! Вот пойду завтра и запишусь!

В компартию Бычков так, впрочем, и не вступил, чему были две существенные причины. С одной стороны, он насмотрелся на первомайское кровопролитие, которое учинил столичный пролетариат, и это зрелище его сильно насторожило, с другой стороны, он случайно познакомился на Москворецком оптовом рынке с прелестной женщиной лет тридцати пяти, и в нем стало набухать что-то похожее на любовь…